

СТЕФАН ЦВЕЙГ

24 часа ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ



Магистраль. Главный тренд

Стефан Цвейг

24 часа из жизни женщины

«ЭКСМО»

1922, 1925, 1926, 1927, 1929

УДК 821.112.2-31(436)
ББК 84(4Авс)-44

Цвейг С.

24 часа из жизни женщины / С. Цвейг — «Эксмо», 1922, 1925, 1926, 1927, 1929 — (Магистраль. Главный тренд)

ISBN 978-5-04-250426-6

В прозе Стефана Цвейга человеческая душа раскрывается в мгновение – внезапное, роковое, ослепительное. Один случайный взгляд, одна встреча, один поступок способны перевернуть судьбу, сорвать с человека привычную маску и показать то, что он сам от себя скрывал годами. В заглавной новелле сборника респектабельная англичанка вспоминает день, который навсегда изменил ее жизнь. Встретив в казино молодого игрока, охваченного губительной страстью, она неожиданно для самой себя оказывается втянута в историю отчаянного сострадания, опасного искушения и нравственного потрясения. Всего двадцать четыре часа – но в них вмещается целая жизнь: страх, жалость, желание спасти другого человека и страшное открытие собственной уязвимости.

УДК 821.112.2-31(436)

ББК 84(4Авс)-44

ISBN 978-5-04-250426-6

© Цвейг С., 1922, 1925, 1926, 1927,
1929

© Эксмо, 1922, 1925, 1926, 1927, 1929

Содержание

Новеллы	6
Двадцать четыре часа из жизни женщины	6
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Стефан Цвейг

24 часа из жизни женщины

Stefan Zweig

Художественное оформление серии Натальи Портяной.

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

* * *

Новеллы

Двадцать четыре часа из жизни женщины

За десять лет до войны я отдыхал на Ривьере, в маленьком пансионе, и вот однажды за столом вспыхнул жаркий спор, грозивший кончиться настоящей ссорой со злобными выпадами и даже оскорблениями. Большинство людей не отличается богатым воображением. То, что происходит где-то далеко, не задевает их чувств, едва их трогает; но стоит даже ничтожному происшествию произойти у них на глазах, ощутимо близко, как разгораются страсти. В таких случаях люди как бы возмещают обычное свое равнодушие необузданной и излишней горячностью.

Так было и в нашей добропорядочной компании: за обедом мы вели small talk ¹, мирно перекидывались легкими шутками и, встав из-за стола, тотчас расходились в разные стороны: немецкая чета отправлялась с фотоаппаратом на прогулку, добродушный датчанин – к своим скучным удочкам, английская леди – к своим книгам, супруги-итальянцы спешили в Монте-Карло, а я бездельничал, развалившись в плетеном кресле, или садился за работу. Но на этот раз мы сцепились в бурной перепалке, и если кто-нибудь внезапно вскакивал, то не для того, чтобы вежливо откланяться, а в пылу спора, который, как я уже сказал, принял под конец самый ожесточенный характер.

Событие, так взбудоражившее наш маленький застольный кружок, действительно было из ряда вон выходящим. Пансион, где жили мы семеро, производил впечатление частной виллы, и какой чудесный вид открывался из наших окон на прибрежные скалы! На самом же деле он был только частью большой гостиницы «Палас-отель» и соединялся с ней садом, так что мы, хотя и жили особняком, находились в постоянном общении с обитателями отеля. Так вот в этом отеле накануне разыгрался крупный скандал. С дневным поездом в двенадцать двадцать (необходимо точно указать время, ибо оно важно для происшествия и играло роль в нашем жарком споре) прибыл молодой француз и занял комнату с видом на море; уже одно это говорило о том, что он человек со средствами. Он обратил на себя внимание не только своей элегантностью, но прежде всего необычайно привлекательной внешностью: удлиненное женственное лицо, шелковистые светлые усы над чувственными губами, мягкие, волнистые каштановые волосы с кудрявой прядью, падавшей на белый лоб, бархатные глаза – все в нем было красиво какой-то мягкой, вкрадчивой красотой. Держался он предупредительно и любезно, но без всякой нарочитости и жеманства. Если он и напоминал на первый взгляд те раскрашенные восковые манекены, которые, с шегольской тростью в руке, гордо красуются в витринах модных магазинов как воплощенный идеал мужской красоты, то вблизи впечатление фатоватости рассеивалось, потому что его неизменно приветливая любезность (редчайший случай!) была естественной и казалась врожденной. Скромно и вместе с тем сердечно приветствовал он каждого, и было приятно смотреть, как на каждом шагу просто и непринужденно проявлялись его изящество и благовоспитанность. Он спешил подать пальто даме, направляющейся в гардероб, для каждого ребенка находился у него ласковый взгляд или шутка, был он обходителен, но без малейшей развязности; короче говоря, это был, видимо, один из тех счастливцев, которым уверенность, что всех пленяют их ясное лицо и юношеское обаяние, придает еще большую привлекательность. На людей пожилых и болезненных, а их здесь было большинство, его присутствие влияло благотворно. Своей свежестью, жизнерадостностью, победной улыб-

¹ Непринужденная беседа (англ.).

кой юности, которая свойственна неотразимо обаятельным людям, он сразу же завоевал всеобщую симпатию.

Через два часа после своего приезда он уже играл в теннис с дочерьми толстенького благодушного фабриканта из Лиона – двенадцатилетней Аннет и тринадцатилетней Бланш, а их мать, хрупкая, изящная, сдержанная мадам Анриэт, с легкой улыбкой наблюдала, как ее неоперившиеся птенчики бессознательно кокетничают с молодым незнакомцем. Вечером он около часа смотрел, как мы играем в шахматы, рассказал несколько забавных анекдотов, долго прогуливался по набережной с мадам Анриэт – муж ее, как всегда, играл в домино со своим приятелем, фабрикантом из Намюра, – а поздно вечером я застал его в полутемной конторе отеля за интимной беседой с секретаршей. На следующее утро он сопровождал датчанина на рыбную ловлю, обнаружив при этом поразительные познания, затем долго беседовал с лионским фабрикантом о политике и, видимо, также показал себя интересным собеседником, ибо сквозь шум прибоя слышался раскатистый хохот толстяка фабриканта. После обеда (я намеренно, для ясности, так подробно сообщаю о его времяпрепровождении) он опять просидел около часа с мадам Анриэт в саду, за черным кофе, потом играл в теннис с ее дочерьми, беседовал в вестибюле отеля с немецкой четой. В шесть часов я пошел на вокзал отправить письмо и вдруг увидел его. Он поспешил мне навстречу и, как бы извиняясь, сказал, что его неожиданно вызвали, но через два дня он вернется. За ужином он действительно отсутствовал, но только физически, так как за всеми столиками только и говорили что о нем, и все превозносили его приятный, веселый нрав.

Вечером, часов около одиннадцати – я сидел у себя в комнате, дочитывая книгу, – вдруг в открытое окно, выходящее в сад, донеслись крики, взволнованные возгласы, и в отеле поднялась какая-то суматоха. Скорее обеспокоенный, чем подстрекаемый любопытством, я тотчас же спустился в сад и прошел пятьдесят шагов, отделявших нашу виллу от отеля; там я застал гостей и прислугу в необычайном волнении. Мадам Анриэт не вернулась с прогулки на берегу, которую она совершала каждый вечер, пока ее супруг, по заведенному порядку, играл в домино со своим приятелем. Опасались несчастного случая. Словно буйвол, метался по берегу этот обычно медлительный, грузный человек, и когда он кричал во тьму: «Анриэт! Анриэт!» – в его срывающемся от волнения голосе было что-то первобытное и страшное, напоминающее рев раненного насмерть огромного зверя. Кельнеры и мальчики-бои носились вверх и вниз по лестнице; разбудили всех живущих в отеле, позвонили в полицию. А толстый человек в расстегнутом жилете кидался во все стороны и бессмысленно выкрикивал в темноту: «Анриэт! Анриэт!» Проснулись девочки и, стоя у окна в ночных рубашках, звали мать. Отец поспешил наверх, чтобы их успокоить.

И тут произошло нечто ужасное, что почти не поддается описанию, ибо в минуты чрезмерного душевного напряжения во всем облике человека столько трагизма, что не передать ни пером, ни кистью. Толстяк спустился по стонущим под его тяжестью ступеням с изменившимся, бесконечно усталым и вместе с тем гневным выражением лица. В руке он держал письмо.

– Верните всех, – сказал он управляющему еле слышным голосом. – Верните людей, ничего не нужно. Жена ушла от меня.

У этого смертельно раненного человека хватило выдержки, нечеловеческой выдержки, не показать своего горя перед столпившимися вокруг людьми, которые с любопытством на него глазели, а потом, испуганные, смущенные, пристыженные, от него отвернулись. Собрав последние силы, он прошел, ни на кого не глядя, в читальню и потушил там свет; потом мы услышали, как его тучное, грузное тело с глухим стуком опустилось в кресло, и до нас донеслись громкие, отчаянные рыдания – так мог плакать только человек, никогда в жизни не плакавший. И это стихийное горе потрясло нас всех, даже самого ничтожного из нас. Ни один кельнер, никто из привлеченных любопытством гостей не осмелился улыбнуться или проро-

нить слово соболезнавания. Безмолвно, один за другим, словно пристыженные этим сокрушительным взрывом чувства, прокрались мы в свои комнаты, а там, в темной читальне, наедине с самим собой, всхлипывал этот убитый горем человек, пока один за другим гасли огни в доме, полным шепотов, шорохов и вздохов.

Естественно, что такое происшествие, разразившееся как удар грома у нас на глазах, сильно взволновало людей, привыкших к однообразному и беззаботному времяпровождению. Но хотя причиной тех ожесточенных стычек, которые возникли за нашим столом и чуть не привели к взаимным оскорблениям действием, и явился этот удивительный случай, суть спора была в глубоких разногласиях, в столкновении противоположных взглядов на жизнь. Благодаря нескромности горничной, прочитавшей письмо, которое супруг, не помня себя, в бес- сильном гневе скомкал и швырнул на пол, стало известно, что мадам Анриэт уехала не одна, а сговорившись с молодым французом (симпатии к которому у большинства теперь быстро убывали).

На первый взгляд не было ничего удивительного в том, что эта вторая мадам Бовари бросила своего толстого провинциала мужа ради элегантного молодого красавца. Но все в доме были сбиты с толку и возмущены известием, что ни фабрикант, ни его дочери, ни даже сама мадам Анриэт никогда раньше не видели этого ловеласа, и, следовательно, достаточно было двухчасовой вечерней прогулки по набережной и одного часа за черным кофе в саду, чтобы побудить тридцатитрехлетнюю порядочную женщину на другой же день бросить мужа и двоих детей и последовать очертя голову за совершенно незнакомым человеком. Этот, казалось бы, очевидный факт был единогласно отвергнут нашим застольным кружком; все усмотрели здесь вероломство и хитрый маневр любовников: само собой разумеется, мадам Анриэт уже давно находилась в тайной связи с молодым человеком, и этот сердцеед явился сюда лишь для того, чтобы окончательно условиться о побеге. Совершенно невозможно, утверждали все, чтобы честная женщина после трехчасового знакомства вдруг сбежала по первому зову. Развлечения ради я начал спорить и энергично защищал возможность и даже вероятность такого внезапного решения у женщины, которая, томясь в долголетнем скучном супружестве, в душе готова уступить первому смелому натиску. Мои неожиданные возражения подлили масла в огонь, и спор сразу стал всеобщим; особенно разгорелись страсти, когда обе супружеские пары, как немецкая, так и итальянская, с прямо-таки оскорбительным презрением принялись отрицать *coup de foudre*² как нелепость и пошлую романтическую выдумку.

Нет нужды излагать все подробности словесного боя, длившегося от супа до пудинга. За табльдотом остроумны только заправские остряки, а доводы, к которым прибегают в пылу случайного застольного спора, большей частью банальны и приводятся наспех, наобум. Трудно также объяснить, почему наш спор так быстро принял столь язвительный оборот, – думается, тут сыграло роль невольное желание обоих супругов исключить возможность такого легкомыслия и подобной опасности для своих жен. К сожалению, они не придумали ничего более удачного, чем возразить мне, что так может говорить только тот, кто судит о женщинах лишь по случайным, дешевым победам холостяка; это уже разозлило меня, а когда вдобавок немка начала авторитетным тоном поучать меня, что бывают настоящие женщины, а бывают и «проститутки по натуре», к которым, по ее мнению, принадлежит и мадам Анриэт, терпение мое лопнуло, и я, в свою очередь, перешел в наступление.

Я заявил, что лишь страх перед собственными желаниями, перед демоническим началом в нас заставляет отрицать тот очевидный факт, что в иные часы своей жизни женщина, находясь во власти таинственных сил, теряет свободу воли и благоразумие, и добавил, что некоторым людям, по-видимому, нравится считать себя более сильными, порядочными и чистыми, чем те, кто легко поддается соблазну, и что, по-моему, гораздо более честно поступает жен-

² Любовь с первого взгляда; буквально – удар молнии (*фр.*).

щина, которая свободно и страстно отдается своему желанию, вместо того чтобы с закрытыми глазами обманывать мужа в его же объятиях, как это обычно принято. Вот примерно то, что я говорил, и чем яростней нападали другие на бедную мадам Анриэт, тем с большей горячностью я ее защищал (что, по правде сказать, не вполне отвечало моему внутреннему убеждению). Мои слова, точно уколы рапирой, задели за живое обе супружеские пары, и они нестройным квартетом так ожесточенно напустились на меня, что старый добродушный датчанин, наблюдавший за нами, словно судья с секундомером в руке на футбольном матче, был вынужден время от времени предостерегающе постукивать по столу: «Gentlemen, please»³. Но это помогло лишь на минуту. Один из супругов, красный как рак, уже раза три вскакивал из-за стола, и только уговоры жены едва сдерживали его пыл; еще немного – и дискуссия окончилась бы потасовкой, если бы миссис К. внезапно не пролила масло на бурные волны нашего спора.

Миссис К., представительная, пожилая англичанка с белоснежными волосами, по молчаливому уговору была почетной председательницей нашего стола. Она держалась очень прямо, была одинаково приветлива со всеми, говорила мало, но с интересом прислушивалась к разговорам окружающих: уже одна ее наружность оказывала благотворное действие. От нее веяло спокойствием и аристократической сдержанностью. Она ни с кем близко не сходилась и в то же время выказывала каждому знаки внимания; большей частью она сидела с книгой в саду, иногда играла на рояле и лишь изредка присоединялась к обществу или вела оживленный разговор. Ее присутствие было едва ощутимо, и, однако, мы все невольно подчинялись ей. И сейчас, как только она заговорила, нам стало очень стыдно, что мы так шумно и необузданно вели себя.

Миссис К. воспользовалась паузой, наступившей после того, как немец резко вскочил и тут же, по слову жены, покорно уселся на свое место. Она вдруг подняла свои ясные серые глаза, как-то нерешительно посмотрела на меня и потом деловито и четко по-своему уточнила предмет нашего спора:

– Итак, если я верно поняла вас, вы считаете, что мадам Анриэт... что женщина может быть вовлечена в неожиданную авантюру, что она может совершать поступки, которые за час до того ей самой показались бы немыслимыми и в которых ее нельзя винить?

– Я в этом убежден, сударыня, – ответил я.

– В таком случае вы отрицаете всякое мерило нравственности, и любое нарушение морали может быть оправдано. Если вы действительно считаете, что *crime passionnel*⁴, как говорят французы, не преступление, то выходит, что государственное правосудие вообще излишне. Тогда без особого труда – а вы трудитесь на совесть, – добавила она с улыбкой, – можно обнаружить страсть в любом преступлении и оправдать его этой страстью.

Она говорила спокойно, почти весело, и это так понравилось мне, что я, невольно подражая ее деловитому тону, ответил полушутя-полусерьезно:

– Государственное правосудие решает такие вопросы, несомненно, строже, чем я: его долг – охранять общественную нравственность и благопристойность, и это вынуждает его осуждать, вместо того чтобы оправдывать. Я же, как частное лицо, не считаю нужным брать на себя роль прокурора: я предпочитаю профессию защитника. Мне лично приятнее понимать людей, чем судить их.

Ясные серые глаза миссис К. с минуту в упор смотрели на меня; она медлила с ответом. Я подумал, что она не все поняла, и уже собирался повторить ей сказанное по-английски, но она вновь стала задавать мне вопросы с удивительной серьезностью, словно экзаменуя меня:

– Разве, по-вашему, не позорно, не отвратительно, что женщина бросает своего мужа и двоих детей, чтобы последовать за первым встречным, не зная даже, достоин ли он ее любви? Неужели вы действительно можете оправдать такое легкомысленное и беспечное поведение

³ «Господа, прошу вас» (англ.).

⁴ Преступление, вызванное страстью (фр.).

уже не очень молодой женщины, которой хотя бы ради детей следовало вести себя более достойно?

– Повторяю, сударыня, – ответил я, – что я отказываюсь судить или осуждать. Вам я могу чистосердечно признаться, что я немного пересолит – бедная мадам Анриэт, конечно, не героиня, даже не искательница сильных ощущений, и менее всего смелая, страстная натура. Насколько я ее знаю, она лишь заурядная, слабая женщина, к которой я питаю некоторое уважение за то, что она нашла в себе мужество отдаться своему желанию, но еще больше она внушает мне жалость, потому что не сегодня завтра она будет очень несчастна. То, что она сделала, было, может быть, глупо и несомненно опрометчиво, но ни в коем случае нельзя назвать ее поступок низким и подлым. Вот почему я настаиваю на том, что никто не имеет права презирать эту бедную, несчастную женщину.

– А вы сами? Вы все так же уважаете ее? Вы не проводите никакой грани между порядочной женщиной, с которой вы говорили позавчера, и той, другой, которая вчера бежала с первым встречным?

– Никакой. Решительно никакой, ни малейшей.

– Is that so? ⁵ – невольно произнесла она по-английски; по-видимому, разговор необычайно ее занимал.

После минутного раздумья она снова вопросительно посмотрела на меня своими ясными глазами.

– А если бы завтра вы встретили мадам Анриэт, скажем в Ницце, под руку с этим молодым человеком, поклонились бы вы ей?

– Конечно.

– И заговорили бы с ней?

– Конечно.

– А если... если бы вы были женаты, вы познакомили бы такую женщину со своей женой, как будто ничего не произошло?

– Конечно.

– Would you really? ⁶ – снова спросила она по-английски, и в ее голосе прозвучали недоверие и изумление.

– Surely I would ⁷, – ответил я ей тоже по-английски.

Миссис К. молчала. Казалось, она напряженно думала.

Внезапно и как бы удивляясь собственному мужеству, она сказала, взглянув на меня:

– I don't know, if I would. Perhaps I might do it also ⁸.

И с той удивительной непринужденностью, с какой одни англичане умеют учтиво, но решительно оборвать разговор, она встала и дружески протянула мне руку. Ее вмешательство водворило спокойствие, и в глубине души все мы, недавние враги, были признательны ей за то, что угрожающе сгустившаяся атмосфера разрядилась; перекинувшись безобидными шутками, мы вежливо откланялись и разошлись.

Хотя наш спор и закончился по-джентльменски, но после той вспышки между мною и моими противниками появилась известная отчужденность. Немецкая чета держалась холодно, а итальянцы забавлялись тем, что ежедневно язвительно осведомлялись у меня, не слыхал ли я чего-нибудь о «cara signora Henrietta» ⁹. Несмотря на внешнюю вежливость, сердечность и непринужденность, прежде царившие за нашим столом, безвозвратно исчезли.

⁵ Так ли? (англ.)

⁶ В самом деле? (англ.)

⁷ Конечно, да (англ.).

⁸ Не знаю, как бы я поступила. Может быть, так же (англ.).

⁹ «Дорогой синьоре Энриэтте» (ит.).

Ироническая холодность моих противников была для меня особенно ощутима благодаря исключительному вниманию, какое оказывала мне миссис К. Обычно на редкость сдержанная, не склонная к разговорам с сотрапезниками во внеобеденное время, теперь она нередко заговаривала со мной в саду и – я бы даже сказал – отличала меня, ибо хотя бы короткая беседа с ней была знаком особой милости. Откровенно говоря, она даже искала моего общества и пользовалась всяким поводом, чтобы заговорить со мной; это было так очевидно, что мне могли бы прийти в голову глупые, тщеславные мысли, не будь она убеленной сединами старухой. Но о чем бы мы ни говорили, наш разговор неизбежно возвращался все к тому же, к мадам Анриэт; казалось, моей собеседнице доставляло какое-то непонятное удовольствие обвинять в непостоянстве и легкомыслии забывшую свой долг женщину. Но в то же время ее, видимо, радовало, что симпатии мои неизменно оставались на стороне хрупкой, изящной мадам Анриэт и что меня нельзя было заставить отказаться от этих симпатий. Она неуклонно возвращалась к этой теме, и я уже не знал, что и думать об этом странном, почти ипохондрическом упорстве.

Так продолжалось пять или шесть дней, и она все еще ни единым словом не выдала мне, почему эти разговоры так занимают ее. А в том, что это именно так, я окончательно убедился, когда однажды на прогулке упомянул, что мое пребывание здесь приходит к концу и что я думаю послезавтра уехать. На ее обычно невозмутимом лице отразилось волнение, и серые глаза омрачились.

– Как жаль, мне еще о многом хотелось поговорить с вами.

И с этой минуты по овладевшей ею рассеянности и беспокойству я понял, что она всецело поглощена какой-то мыслью. Под конец она сама, казалось, это заметила и, прервав беседу, пожала мне руку и сказала:

– Я сейчас не в силах ясно выразить то, что хотела бы сказать. Лучше я напишу вам.

И, против своего обыкновения, быстрыми шагами направилась к дому.

Действительно, вечером, перед самым обедом, я нашел у себя в комнате письмо, написанное ее энергичным, решительным почерком. К сожалению, в молодые годы я легкомысленно обходился с письменными документами, так что не могу передать ее письмо дословно; попытаюсь приблизительно изложить его содержание. Она писала, что вполне сознает всю странность своего поведения, но спрашивает меня, может ли она рассказать мне один случай из своей жизни. Это было очень давно и уже почти не имеет значения для ее теперешней жизни, а так как я послезавтра уезжаю, то ей будет легче говорить о том, что больше двадцати лет волнует и мучает ее. Поэтому, если я не сочту это с ее стороны назойливостью, она просит уделить ей час времени.

Письмо, содержание которого я передаю лишь вкратце, чрезвычайно меня заинтересовало: уже одно то, что оно было написано по-английски, придавало ему какую-то особую ясность и решительность. И все же ответ дался мне нелегко, и я изорвал три черновика, прежде чем написал следующее:

«Я очень польщен вашим доверием и обещаю ответить вам честно, если вы этого потребуете. Конечно, я не смею просить вас сказать мне больше, чем вы сами захотите. Но в рассказе своем будьте вполне искренни передо мной и перед самой собой. Повторяю, ваше доверие я считаю большой для себя честью».

Вечером записка была в ее комнате, и на следующее утро я получил ответ:

«Я с вами согласна – хороша только полная правда. Полуправда ничего не стоит. Я приложу все силы, чтобы не умолчать ни о чем ни перед самой собой, ни перед вами. Приходите после обеда ко мне в комнату... в мои шестьдесят семь лет я могу не опасаться кривотолков. Я не хочу говорить об этом в саду или на людях. Поверьте, мне и так было нелегко на это решиться».

Днем мы виделись за столом и чинно беседовали о безразличных предметах. Но в саду, когда я случайно ее встретил, она посторонилась с явным замешательством, и трогательно

было видеть, как эта старая, седая женщина девически робко и смущенно свернула в боковую аллею.

Вечером, в назначенный час, я постучался к ней. Мне тотчас же открыли. Комната тонула в мягком полумраке, горела только маленькая настольная лампа, отбрасывая желтый круг света. Миссис К. непринужденно встала мне навстречу, предложила мне кресло и сама села против меня; я чувствовал, что каждое движение было заранее продумано и рассчитано; и все же, очевидно, вопреки ее желанию, наступила пауза, которая становилась все тягостнее; но я не осмеливался заговорить, так как чувствовал, что в душе моей собеседницы происходит борьба сильной воли с не менее сильным противодействием. Снизу, из гостиной, доносились отрывочные звуки вальса; я усердно вслушивался, стремясь уменьшить гнетущую тяжесть молчания. Видимо, она тоже почувствовала томительно неестественную напряженность затянувшейся паузы, потому что вдруг вся подобралась, как для прыжка, и заговорила:

– Трудно только начать. Уже два дня, как я приняла решение быть до конца искренней и правдивой; надеюсь, мне это удастся. Может быть, вам сейчас еще непонятно, почему я рассказываю все это вам, совершенно чужому человеку. Но не проходит дня и даже часа, чтобы я не думала о том происшествии; я старая женщина, и вы можете мне поверить, что прямо невыносимо весь свой век быть прикованной к одному-единственному моменту своей жизни, одному-единственному дню. Ибо все, что я хочу вам рассказать, произошло на протяжении двадцати четырех часов, а ведь я живу на свете уже шестьдесят семь лет; до одури я повторяю себе: какое это имеет значение, если бы даже один-единственный раз в жизни я поступила безрассудно? Но не так-то легко отделаться от того, что мы довольно туманно называем совестью, и когда я услышала, как спокойно вы рассуждаете о случае с мадам Анриэт, я подумала: быть может, если я решусь откровенно поговорить с кем-нибудь об этом дне моей жизни, придет конец моим бессмысленным думам о прошлом и непрестанному самобичеванию. Будь я не англиканского вероисповедания, а католичкой, я давно бы нашла облегчение, рассказав все на исповеди, но такого утешения нам не дано, и потому я сегодня делаю довольно странную попытку – оправдать себя, поведав вам эту историю. Знаю, все это очень необычно, но вы приняли мое предложение без колебаний, и я благодарна вам за это.

Как я уже говорила, я хочу описать один-единственный день моей жизни – все остальное кажется мне сейчас незначительным и, вероятно, будет скучно для других. То, как я жила до сорока двух лет, можно рассказать в двух словах. Мои родители были богатые лендлорды, нам принадлежали большие фабрики и имения в Шотландии, и, как все тамошние старые дворянские семьи, мы большую часть года проводили в своих поместьях, а зимний сезон – в Лондоне. Восемнадцати лет я познакомилась с моим будущим мужем, который был младшим сыном в родовитом семействе Р. и десять лет прослужил офицером в Индии. Вскоре мы обвенчались и стали вести беззаботную жизнь людей нашего круга: три месяца в Лондоне, три месяца в поместьях, остальное время – в путешествиях по Италии, Испании и Франции. Ни малейшее облачко не омрачало нашей семейной жизни. Оба моих сына давно уже взрослые люди. Когда мне минуло сорок лет, мой муж внезапно скончался. Он нажил себе в тропиках болезнь печени, от которой и погиб в какие-нибудь две недели. Мой старший сын уже служил тогда во флоте, младший был в колледже, и вот за одну ночь я сразу осиротела, и это одиночество после стольких лет совместной жизни с близким человеком было для меня нестерпимой мукой. Оставаться еще хоть день в опустевшем доме, где все напоминало о недавней смерти любимого мужа, было невозможно, и я решила провести ближайшие годы, пока сыновья не женятся, в путешествиях.

С этого момента жизнь стала для меня бессмысленной и ненужной. Муж, с которым в течение двадцати двух лет я делилась всеми своими помыслами и чувствами, умер, дети не нуждались во мне. Я боялась омрачить их юность своей тоской и печалью. У меня не было ни надежд, ни стремлений. Я поехала сначала в Париж, ходила там от скуки по магазинам и музеям, но город и вещи ничего не говорили мне, людей я избегала, – я была в трауре и не

выносила их почтительно соболезняющих взглядов. Я не могла бы рассказать, как прошли эти месяцы бесцельных скитаний; я как-то отупела и словно ослепла, помню только, что у меня все время было страстное желание умереть, но не хватало сил приблизить вожаденный конец.

На второй год моего вдовства и на сорок втором году жизни, не зная, как убить время, и спасаясь от гнетущего одиночества, я очутилась в марте месяце в Монте-Карло. Сказать по правде, я поехала туда от скуки, гонимая томительной, подкатывающей к сердцу, как тошнота, душевной пустотой, которая требует хотя бы незначительных внешних впечатлений.

Чем сильнее было мое душевное оцепенение, тем больше тянуло меня туда, где быстрее вращалось колесо жизни; на тех, у кого нет своих переживаний, чужие страсти действуют так же возбуждающе, как театр или музыка.

Поэтому я нередко заглядывала в казино. Мне доставляло удовольствие видеть радость или разочарование игроков; их волнение, тревога хоть отчасти разгоняли мою мучительную тоску. К тому же, не будучи легкомысленным, мой муж все же охотно посещал игорный зал, а я с каким-то бессознательным пиететом подражала всем его былым привычкам; так и начались те двадцать четыре часа, которые были увлекательнее любой игры и на долгие годы омрачили мою жизнь.

В тот день я обедала с герцогиней М., моей родственницей; после ужина, чувствуя себя еще недостаточно усталой, чтобы лечь спать, я пошла в казино. Сама я не играла, а бродила между столами, наблюдая за людьми особым способом. Я говорю: особым способом, ибо этому научил меня покойный муж, когда однажды, соскучившись, я пожаловалась, что мне надоело наблюдать все время одни и те же лица: сморщенных старух, которые часами сидят здесь, прежде чем рискнуть сделать ставку, прожженных профессионалов и неизменных кокоток – всю эту сомнительную, разношерстную публику, гораздо менее живописную и романтическую, чем в скверных романах, где она изображается как *fleur d'elegance*¹⁰ и европейская аристократия. Притом не надо забывать, что двадцать лет назад, когда здесь сверкало настоящее золото, шуршали банкноты, звенели наполеондоры, стучали пятифранковые монеты, казино являло собой куда более привлекательное зрелище, чем новомодный помпезный игорный дом, где в наши дни пошлейшие туристы вяло спускают свои обезличенные жетоны. Впрочем, и тогда уже меня мало занимали бесстрастные лица игроков. Но вот мой муж, который увлекался хиромантией, показал мне свой способ наблюдать, и он в самом деле оказался куда интереснее и увлекательнее, чем просто следить за игрой: совсем не смотреть на лица, а только на четырехугольник стола, и то лишь на руки игроков, приглядываясь к их поведению.

Не знаю, случалось ли вам смотреть только на зеленый стол, в середине которого, как пьяный, мечется шарик рулетки, и на квадратики полей, которые словно густыми всходами покрываются бумажками, золотыми и серебряными монетами, и видеть, как крупье одним взмахом своей лопатки сгребает весь урожай или часть его пододвигает счастливому игроку. Под таким углом зрения единственно живое за зеленым столом – это руки, множество рук, светлых, подвижных, настороженных рук, словно из нор выглядывающих из рукавов; каждая – точно хищник, готовый к прыжку, каждая иной формы и окраски: одни – голые, другие – взнузданные кольцами и позвякивающие цепочками, некоторые косматые, как дикие звери, иные влажные и вертлявые, как угри, но все напряженные и трепещущие от чудовищного нетерпения. Мне всякий раз невольно приходило в голову сравнение с ипподромом, где у старта с трудом сдерживают разгоряченных лошадей, чтобы они не ринулись раньше срока; они так же дрожат, рвутся вперед, становятся на дыбы.

Все можно узнать по этим рукам, по тому, как они ждут, как они хватают, медлят: корыстолюбца – по скрюченным пальцам, расточителя – по небрежному жесту, расчетливого – по спокойным движениям кисти, отчаявшегося – по дрожащим пальцам; сотни характеров мол-

¹⁰ Верх изыска (фр.).

ниеносно выдают себя манерой, с какой берут в руки деньги: комкают их, нервно теребят или в изнеможении, устало разжав пальцы, оставляют на столе, пропуская игру. Человек выдает себя в игре – это прописная истина, я знаю. Но еще больше выдает его собственная рука. Потому что все или почти все игроки умеют управлять своим лицом – над белым воротничком виднеется только холодная маска *impassibilite*¹¹, они разглаживают складки у рта, стискивают зубы, глаза их скрывают тревогу; они укрощают дергающиеся мускулы лица и придают ему притворное выражение равнодушия. Но именно потому, что они изо всех сил стараются управлять своим лицом, которое прежде всего бросается в глаза, они забывают о руках, забывают о том, что есть люди, которые, наблюдая за их руками, угадывают по ним все то, что хотят скрыть наигранная улыбка и напускное спокойствие. А между тем руки бесстыдно выдают самое сокровенное, ибо неизбежно наступает момент, когда с трудом усмиренные, словно дремлющие пальцы теряют власть над собой: в тот краткий миг, когда шарик рулетки падает в ячейку и крупье выкрикивает номер, каждая из сотни или даже сотен рук невольно делает свое особое, одной ей присущее инстинктивное движение. И если научиться наблюдать это зрелище, как довелось мне благодаря пристрастию моего мужа, то такое многообразное проявление самых различных темпераментов захватывает сильнее, чем театр или музыка; я даже не могу вам описать, какие разные бывают руки у игроков: дикие звери с волосатыми скрюченными пальцами, по-паучьи загибающими золото, и нервные, дрожащие, с бледными ногтями, едва осмеливающиеся дотронуться до денег, благородные и низкие, грубые и робкие, хитрые и вместе с тем нерешительные – но каждая в своем роде, каждая пара живет своей жизнью, кроме четырех-пяти пар рук, принадлежащих крупье. Эти – настоящие автоматы, они действуют, как стальные щелкающие затворы счетчика, они одни безучастны и деловиты; но даже эти трезвые руки производят удивительное впечатление именно по контрасту с их алчными и азартными собратьями; я бы сказала, что они, как полицейские, затянутые в мундир, стоят среди шумной, возбужденной толпы.

Особенное удовольствие доставляло мне узнавать привычки и повадки этих рук; через два-три дня у меня уже оказывались среди них знакомые, и я делила их, как людей, на симпатичных и неприятных: некоторые были мне так противны своей суетливостью и жадностью, что я отводила взгляд, как от чего-то непристойного. Всякая новая рука на столе означала для меня новое интересное переживание; иной раз, наблюдая за предательскими пальцами, я даже забывала взглянуть на лицо, которое холодной светской маской маячило над крахмальной грудью смокинга или сверкающим бриллиантами бюстом.

В тот вечер я вошла в зал, миновала два переполненных стола, подошла к третьему и, вынимая из портмоне золотые, вдруг услышала среди гулкой, страшно напряженной тишины, какая наступает всякий раз, когда шарик, сам уже смертельно усталый, мечется между двумя цифрами, – услышала какой-то странный треск и хруст, как от ломающихся суставов. Невольно я подняла глаза и прямо напротив увидела – мне даже страшно стало – две руки, каких мне еще никогда не приходилось видеть: они вцепились друг в друга, точно разъяренные звери, и в неистовой схватке тискали и сжимали друг друга, так что пальцы издавали сухой треск, как при раскалывании ореха. Это были руки редкой, изысканной красоты, и вместе с тем мускулистые, необычайно длинные, необычайно узкие, очень белые – с бледными кончиками ногтей и изящными, отливающими перламутром лунками. Я смотрела на эти руки весь вечер, они поражали меня своей неповторимостью; но в то же время меня пугала их взволнованность, их безумно страстное выражение, это судорожное сцепление и единоборство. Я сразу почувствовала, что человек, преисполненный страсти, загнал эту страсть в кончики пальцев, чтобы самому не быть взорванным ею. И вот, в ту секунду, когда шарик с сухим коротким стуком упал в ячейку и крупье выкрикнул номер, руки внезапно распались, как два зверя, сраженные

¹¹ Бесстрастия (*фр.*).

одной пулей. Они упали, как мертвые, а не просто утомленные, поникли с таким выражением безнадежности, отчаяния, разочарования, что я не могу передать это словами. Ибо никогда, ни до, ни после, я не видела таких говорящих рук, где каждый мускул кричал и страсть почти явственно выступала из всех пор. Мгновение они лежали на зеленом сукне вяло и неподвижно, как медузы, выброшенные волной на взморье. Затем одна, правая, стала медленно оживать, начиная с кончиков пальцев: она задрожала, отпрянула назад, несколько секунд металась по столу, потом, нервно схватив жетон, покатила его между большим и указательным пальцами, как колесико. Внезапно она изогнулась, как пантера, и бросила, словно выплюнула, стофранковый жетон на середину черного поля. И тотчас же, как по сигналу, встрепенулась и скованная сном левая рука: она приподнялась, подкралась, подползла к дрожащей, как бы усталой от броска сестре, и обе лежали теперь рядом, вздрагивая и слегка постукивая запястьями по столу, как зубы стучат в ознобе; нет, никогда в жизни не видела я рук, которые с таким потрясающим красноречием выражали бы лихорадочное возбуждение. Все в этом нарядном зале – глухой гул голосов, выкрики крупье, снующие взад и вперед люди и шарик, который, брошенный с высоты, прыгал теперь как одержимый в своей круглой, полированной клетке, – весь этот пестрый, мелькающий поток впечатлений показался мне вдруг мертвым и застывшим по сравнению с этими руками, дрожащими, задыхающимися, выжидающими, вздрагивающими, удивительными руками, на которые я смотрела как зачарованная.

Но больше я не в силах была сдерживаться: я должна была увидеть лицо человека, которому принадлежали эти магические руки, и боязливо – да, именно боязливо, потому что я испытывала страх перед этими руками, – мой взгляд стал нащупывать рукава и пробираться к узким плечам. И снова я содрогнулась, потому что это лицо говорило на том же безудержном, немыслимо напряженном языке, что и руки; столь же нежное и почти женственно-красивое, оно выражало ту же потрясающую игру страстей. Никогда я не видела такого потерянного, отсутствующего лица, и у меня была полная возможность созерцать его как маску или безглазую скульптуру, потому что глаза на этом лице ничего не видели, ничего не замечали. Неподвижно смотрел черный остекленелый зрачок, словно отражение в волшебном зеркале того темно-красного шарика, который задорно, игриво вертелся, приплясывая в своей круглой тюрьме. Повторяю, никогда не видела я такого страстно напряженного, такого выразительного лица. Узкое, нежное, слегка удлиненное, оно принадлежало молодому человеку лет двадцати пяти. Как и руки, оно не производило впечатления мужественности, а казалось скорее лицом одержимого игорным азартом юноши; но все это я заметила лишь после, ибо в тот миг оно было все страсть и неистовство. Небольшой рот с тонкими губами был приоткрыт, и даже на расстоянии десяти шагов можно было видеть, как лихорадочно стучат зубы. Ко лбу прилипла светлая прядь волос, и вокруг крыльев носа что-то непрерывно трепетало, словно под кожей перекачивались мелкие волны. Его склоненная голова невольно подавалась все вперед и вперед, казалось, вот-вот она будет вовлечена в круговорот рулетки; и только тут я поняла, почему так судорожно сжаты его руки: лишь это противодействие, эта спазма удерживала в равновесии готовое упасть тело.

Никогда, никогда в жизни не встречала я лица, на котором так открыто, обнаженно и бесстыдно отражалась бы страсть, и я не сводила с него глаз, прикованная, зачарованная его безумием, как он сам – прыжками и кружением шарика. С этой минуты я ничего больше не замечала вокруг; все казалось мне бледным, смутным, расплывчатым, серым по сравнению с пылающим огнем этого лица, и, забыв о существовании других людей, я добрый час наблюдала за этим человеком, за каждым его жестом. Вот в глазах его вспыхнул яркий свет, сжатые узлом руки разлетелись, как от взрыва, и дрожащие пальцы жадно вытянулись – крупье пододвинул к нему двадцать золотых монет. В эту секунду лицо его внезапно просияло и сразу помолодело, складки разгладились, глаза заблестели, сведенное судорогой тело легко и радостно выпрямилось; свободно, как всадник в седле, сидел он, торжествуя победу, пальцы шаловливо

и любовно перебирали круглые звенящие монеты, сталкивали их друг с другом, заставляли танцевать, мелодично позванивать. Потом он снова беспокойно повернул голову, окинул зеленый стол взглядом молодой охотничьей собаки, которая ищет след, и вдруг рывком швырнул всю кучку золотых монет на один из квадратов. И опять эта настороженность, это напряженное выжидание. Снова поползли от губ к носу мелкие дрожащие волны, судорожно сжались руки, лицо юноши исчезло, скрылось за выражением алчного нетерпения, которое тут же сменилось разочарованием: юношески возбужденное лицо увяло, поблекло, стало бледным и старым, взгляд потускнел и погас – и все это в одно-единственное мгновение, когда шарик упал не на то число. Он проиграл; несколько секунд он смотрел перед собой тупо, как бы не понимая, но вот, словно подхлестнутые выкриком крупье, пальцы снова схватили несколько золотых монет. Однако уверенности уже не было, он бросил монеты сперва на одно поле, потом, передумав, – на другое, и, когда шарик уже был в движении, быстро, повинаясь внезапному наитию, дрожащей рукой швырнул еще две смятые бумажки на тот же квадрат.

Эта захватывающая смена удач и неудач продолжалась безостановочно около часа, и в течение этого часа, затаив дыхание, я ни на миг не отводила зачарованного взгляда от этого беспрерывно меняющегося лица, на котором, отливая и приливая, кипели все страсти; я не отрывала глаз от этих магических рук, каждый мускул которых пластически передавал всю подымающуюся и ниспадающую кривую переживаний. Никогда в театре не всматривалась я так напряженно в лицо актера, как в это лицо, по которому, словно свет и тени на ландшафте, пробегала беспрестанно меняющаяся гамма всех цветов и ощущений. Никогда не была я так увлечена игрой, как этим отраженным чужим волнением; если бы кто-нибудь наблюдал за мной в этот момент, он приписал бы мой пристальный, неподвижный, напряженный взгляд действию гипноза; и правда, мое состояние было близко к совершенному оцепенению; я не могла оторваться от этого лица, и все в зале – огни, смех, людей – ощущала лишь смутно, как желтую дымку, среди которой пламенело это лицо – огонь среди огней. Я ничего не слыхала, ничего не чувствовала, не замечала, как теснились вокруг люди, как другие руки внезапно протягивались, словно щупальца, бросали деньги или загребали их; я не замечала шарика, не слышала голоса крупье и в то же время видела, словно во сне, все происходящее по этим рукам и по этому лицу совершенно отчетливо, увеличенное, как в вогнутом зеркале, благодаря страстному волнению этого человека; падал ли шарик на черное или красное, крутился он или останавливался, мне незачем было смотреть на рулетку: все – проигрыш и выигрыш, надежда и разочарование – отражалось с невиданной силой в его мимике и жестах.

Но вот наступила ужасная минута: то, чего в глубине души я все время смутно опасалась, что томило меня, как надвигающаяся гроза, внезапно ударило по моим натянутым нервам. Снова шарик с коротким дребезжащим стуком ткнулся в углубление, снова наступила секундная пауза, – сотня людей затаила дыхание, голос крупье возвестил «ноль», и его проворная лопатка уже сгребала звякающие монеты и шуршащие бумажки. И в эту минуту крепко сжатые руки сделали невыразимо страшное движение; они как бы вскочили, чтобы схватить что-то, чего не было, и в изнеможении опустились на стол. Потом они внезапно ожили, сбегали со стола, стали карабкаться, как дикие кошки, по всему туловищу, вверх, вниз, вправо, влево, лихорадочно рыская по карманам – не завалилась ли где-нибудь забытая монета. Неизменно возвращались они пустыми, все яростней возобновляя свои бессмысленные, бесполезные поиски, а рулетка уже снова вертелась, и игра продолжалась. Звенели монеты, двигались стулья, и тысячи негромких разнообразных шумов наполняли зал. Я дрожала, потрясенная ужасом: я переживала все это так отчетливо, словно то были мои пальцы, отчаянно рывшиеся в карманах и складках смятого платья в поисках хотя бы одной монеты. И вдруг сидевший против меня порывисто вскочил, как человек, которому тошнота подступила к горлу, стул с грохотом полетел на пол. Но, не замечая этого, не видя людей, испуганно и удивленно уступавших ему дорогу, он, шатаясь, побрел прочь.

Увидев это, я словно окаменела. Я тотчас же поняла, куда идет этот человек: на смерть. Кто так встает, не пойдет в гостиницу, в ресторан, к женщине, на станцию железной дороги, к чему-нибудь живому, а прямо бросится в пропасть. Даже самые зачерствелые в этом аду должны были почувствовать, что у него больше ничего нет – ни дома, ни в банке, ни у родных, что он рискнул последним достоянием, что ставкой была его жизнь и теперь он побрел куда-то, откуда уже не вернется.

Все время я боялась этого, с первого же взгляда чутьем поняла, что здесь дело идет о чем-то более важном, чем выигрыш или проигрыш. Я чувствовала, что эта всепоглощающая страсть должна разрушить самое себя. И все же словно черная молния ослепила меня, когда я увидела, как жизнь внезапно ушла из его глаз и смерть серою пеленою застлала только что столь живое лицо. И так велика была сила воздействия его выразительных жестов, что, когда он сорвался с места и, пошатываясь, побрел прочь, я невольно ухватила за стол; я ощутила всем своим существом нетвердость его походки, так же как до того всеми нервами, всеми фибрами души ощущала его игорный азарт. И что-то толкнуло меня; я должна была идти за ним, ноги сами пошли, я даже не сознавала, что делаю. Не обращая ни на кого внимания, не помня себя, я шла, я бежала по коридору к выходу.

Он стоял у вешалки, служитель подавал ему пальто. Но руки не повиновались ему, и служитель бережно, как больному, помогал ему попасть в рукава. Я видела, как он машинально полез в жилетный карман, чтобы дать на чай, но там было пусто. Тут он, казалось, вдруг вспомнил все, смущенно пробормотал несколько слов, снова, как в зале, рванулся вперед и тяжело, словно пьяный, начал спускаться по лестнице казино, провожаемый поначалу презрительной, а потом понимающей усмешкой служителя.

Все это было так страшно, что мне стало как-то стыдно следить за ним. Я отвернулась, смущенная тем, что как в театре наблюдаю чужое страдание, но тут же безотчетный страх снова подтолкнул меня. Я быстро накинула мантию и уже без всякой мысли, непроизвольно, как автомат, побежала в темноту за этим чужим человеком.

Миссис К. на мгновение остановилась. Она неподвижно сидела против меня и говорила почти без пауз, со свойственным ей спокойствием и обстоятельностью, видимо подготовившись и тщательно припомнив ход событий. Теперь она впервые запнулась и прервала свой рассказ.

– Я обещала вам и самой себе, – начала она не без волнения, – рассказать все с полной откровенностью. И теперь я прошу вас отнестись ко мне с полным доверием и не искать в моих поступках скрытых побуждений, которых я ныне, быть может, и не стыдилась бы, но которых тогда и в помине не было. Итак, повторяю, когда я выбежала на улицу за этим отчаявшимся игроком, я отнюдь не была влюблена в него и даже не думала о нем как о мужчине; ведь мне уже было за сорок, и после смерти мужа я ни разу не взглянула ни на одного мужчину. С этим было покончено навсегда; я должна вам это сказать, иначе вы не почувствуете весь ужас того, что потом произошло. Правда, мне трудно было бы определить чувство, которое с такой силой влекло меня тогда за этим несчастным; тут было и любопытство, но прежде всего страх перед чем-то ужасным, что я с первой же минуты ощутила. Страх перед невидимой тучей, нависшей над этим юношей. Но такие ощущения нельзя расчленять и анализировать уже потому, что они слишком внезапно, слишком властно овладевают вами. Вероятно, мой порыв был просто инстинктивным желанием помочь – так оттаскивают в сторону ребенка, бегущего навстречу автомобилю. Разве объяснишь, почему люди, не умеющие плавать, бросаются с моста за утопающим? Они движимы неодолимой силой, эта сила толкает их в воду, не давая времени опомниться и сообразить, как это бессмысленно и опасно. И точно так же, не думая, не отдавая себе отчета, последовала я тогда за ним из игорного зала в вестибюль, а из вестибюля на площадку перед казино.

Я уверена, что и вы, да и всякий чуткий человек невольно поддастся бы этому тревожному любопытству, потому что нельзя себе представить более ужасного зрелища, чем этот молодой человек, не старше двадцати пяти лет, который, шатаясь, точно пьяный, медленно, по-стариковски волоча непослушные ноги, тащился по лестнице. Спустившись вниз, он как мешок упал на скамью. И снова я содрогнулась, ибо ясно видела – это конченный человек. Так падает лишь мертвый или тот, в ком ничто уже не цепляется за жизнь. Голова как-то боком откинулась на спинку, руки безжизненно повисли вдоль туловища, и в тусклом свете фонарей его можно было принять за человека, пустившего себе пулю в лоб. И вот – не могу объяснить, как возникло это видение, но внезапно оно предстало передо мной во всей своей страшной, почти осязаемой реальности: я увидела его застрелившимся; я была твердо уверена, что в кармане у него револьвер и что завтра его найдут на этой или на другой скамье мертвым и залитым кровью. Он упал, как падает камень в пропасть, не останавливаясь, пока не достигнет дна; я никогда не думала, что одним телодвижением можно выразить всю полноту изнеможения и отчаяния.

Теперь представьте себе мое состояние: я остановилась в двадцати или тридцати шагах от скамейки, где был неподвижно распростерт несчастный юноша, не зная, что предпринять, побуждаемая, с одной стороны, желанием помочь, с другой – удерживаемая унаследованной и привитой воспитанием боязнью заговорить на улице с незнакомым человеком. Газовые фонари тускло мерцали под затянутым тучами небом; изредка мелькала фигура прохожего; приближалась полночь, и я была почти наедине с этой мрачной тенью. Пять, десять раз порывалась я подойти к нему, но всякий раз меня останавливал стыд или, быть может, тайный страх: ведь падающий нередко увлекает за собой спасителя, и все время я сознавала нелепость и комичность своего положения; но я не могла ни заговорить, ни что-либо предпринять, ни покинуть его. И надеюсь, вы поверите мне, что, быть может, целый час, бесконечный час, пока тысячи и тысячи всплесков невидимого моря отмеривали время, я в нерешительности топталась на месте, потрясенная и загипнотизированная зрелищем полного уничтожения человека.

Но у меня не хватало мужества что-нибудь сказать или сделать, и я простояла бы так полночи или, повинувшись голосу благоразумия, пошла бы домой – помнится, я даже почти решилась бросить на произвол судьбы злополучного игрока, – как вдруг вмешательство стихийных сил положило конец моим колебаниям: начался дождь. Весь вечер нагоняло ветром с моря тяжелые весенние тучи, воздух был душный, чувствовалось, что небо нависло совсем низко, – и вот внезапно упала капля, а за ней хлынул подхлестнутый ветром тяжелый, сплошной ливень. Спасаясь от него, я бросилась под навес киоска, но, несмотря на раскрытый зонтик, неистовый вихрь, прыгая и крутясь, обдавал брызгами мое платье. Капли яростно ударялись о землю, и холодная водяная пыль попадала мне на лицо и руки.

Но – и это было так ужасно, что еще сейчас, спустя двадцать пять лет, как вспомню, сердце сжимается, – несчастный продолжал неподвижно сидеть на скамье под проливным дождем. Из всех сточных труб, булькая, бежала вода, из города доносился грохот экипажей, справа и слева мелькали темные фигуры с поднятым воротником: все живое пряталось, бежало, спасалось, искало убежища, и в людях и в животных чувствовался страх перед разбушевавшейся стихией – только этот черный человеческий комок на скамье не двинулся, не шелохнулся. Я уже говорила, что этот человек обладал магическим свойством выражать каждое свое чувство движением или жестом, и ничто, ничто на свете не могло с такой потрясающей силой передать отчаяние, полный отказ от самого себя, как бы смерть заживо, как эта неподвижность, это безжизненное, бесчувственное невнимание к ливню, это неимение сил подняться и пройти несколько шагов до укрытия, это мертвое равнодушие к собственному бытию. Ни один скульптор, ни один поэт, ни Микеланджело, ни Данте не заставили меня с такой силой почувствовать предельное отчаяние, предельную земную муку, как этот живой человек под бушующей стихией, слишком усталый, чтобы сделать малейшую попытку оградиться от нее. Я не могла этого вынести; я рванулась к нему сквозь холодный хлещущий дождь и встряхнула

его: «Идемте!» Что-то мелькнуло в его мутном взгляде, он сделал слабое движение рукой, но не понял меня. «Идемте», – я дернула его за мокрый рукав уже с силой и почти сердито. Тогда он медленно, как-то безвольно поднялся со скамьи. «Что вам надо?» – спросил он, и у меня не было ответа, потому что я и сама не знала, куда его увести, только бы прочь отсюда, от этого холодного ливня, от этой бессмысленной, самоубийственной позы глубочайшего отчаяния! Я не выпускала его руки и тащила безвольное тело все дальше, к киоску, где узкий выступ крыши хоть немного защитит нас от яростного натиска дождя и ветра. Больше я ни о чем не думала, ничего не хотела. Только бы втащить этого человека под крышу, на сухое место, – других мыслей у меня не было.

И вот мы очутились рядом на этом узком сухом местечке; за спиной у нас были закрытые ставни киоска, над головой – слишком маленький навес, и неутихающий ливень обдавал холодными брызгами нашу одежду и лица. Положение становилось невыносимым. Я просто не могла больше стоять рядом с этим насквозь промокшим чужим человеком. Но, притавив его сюда, я не могла и покинуть его без единого слова. Что-то должно было произойти, и я заставила себя здраво взглянуть на дело. Лучше всего, подумала я, отвезти его в экипаже к нему домой, а потом вернуться в свой отель; завтра он уже сам найдет выход. И я спросила человека, неподвижно стоявшего рядом со мной и пристально смотревшего в темноту:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.